

СЕРГЕЙ СНЕГОВ

# ЧЕТЫРЕ ДРУГА

SERGEY SNEGOV  
FOUR BEST FRIENDS

Сергей Снегов

**Четыре друга**

«СОЮЗ»

1989

**Снегов С. А.**

Четыре друга / С. А. Снегов — «СОЮЗ», 1989

ISBN 978-5-6050128-3-2

В результате неудачного эксперимента погибает руководитель Лаборатории ротоновой энергии – Кондрат Сабуров. В ходе предварительного расследования установлено, что наряду с научными интересами в проводимых научных исследованиях были замешаны и сугубо личные. Одному из ученых, близко знавшему Сабурова, поручают установить меру «личного» и «производственного» в экспериментах и дополнить отчет этими очень важными деталями.

ISBN 978-5-6050128-3-2

© Снегов С. А., 1989

© СОЮЗ, 1989

# Сергей Снегов

## Четыре друга



© Т.С. Ленская

© Е.С. Ленская

© ИП Воробьев В.А.

© ООО ИД «СОЮЗ»

WWW.SOYUZ.RU

### 1

Начну с признания: я не принадлежу к числу горячих поклонников Кондрата Сабурова. И я не был его близким другом, как считают многие. Больше того, он временами был мне антипатичен. Прекрасная Адель Войцехович со всей свойственной ей бесцеремонностью убеждала Кондрата – да и меня самого, – что я ему завидую. Не думаю, что она права. Я не собираюсь ни обелять себя, ни тем более напяливать на себя ангельские крылышки. Я не ангел, это бесспорно. Но и не дьявол, каким она меня живописует. Оставляя в стороне объективную научную ценность моих споров с Кондратом, уверен, они имели и то немаловажное субъективное значение, что ограничивали его фантазию. Он заносился, его нужно было одергивать. Когда человек вообразит себя непогрешимым, ему море по колено. А море топит корабли, на нем разражаются бури. Здесь главный источник наших разногласий. Я настаиваю на этом, что бы теперь ни говорили о моем скверном характере Адель и Эдуард, изменившие Кондрату в труднейший час его изысканий. Трагический финал экспериментов свидетельствует, что прав был я, требовавший от Кондрата осмотрительности, а не они, толкавшие его на научные авантюры. И я оплакивал гибель Кондрата ничуть не меньше, чем те двое. Ибо ушел от Кондрата, а не предал его. Он мне однажды сказал: «В тебе я уверен, Мартын, ты не изменишь, изменить может только друг, а какой ты мне друг!» Так он понимал меня, Кондрат Сабуров, руководитель Лаборатории ротоновой энергии. И у меня нет причин стыдиться такой оценки.

Именно в таком смысле я и высказался, когда директор Объединенного института № 18 академик Огюст Ларр и его заместитель Карл-Фридрих Сомов вызвали меня на собеседование. Я ни одной минуты не сомневался, что будет не собеседование, а допрос, и не постеснялся довести до их сведения свое понимание. Хорошо помню, как по-разному они восприняли мой выпад.

Сейчас я формально обязался вести запись всего, что хоть в отдаленной степени касалось работ в ротоновой лаборатории, и с удовольствием вписываю в свой отчет и ту беседу с руководителями института, ибо она не в отдаленной, а в очень близкой степени затрагивала обстоятельства трагедии.

Огюст Ларр вызвал меня в свой роскошный кабинет в полдень. Окна выходили на южную сторону, и сквозь стекла лилось жаркое солнце. Я не люблю чрезмерного света и сел к солнцу спиной. Против своего обыкновения, Ларр сидел за столом. На огромном столе лежала толстая папка с какими-то бумагами. Я сказал «против обыкновения», потому что почтенный академик редко обретается в кабинете, его любимое местопребывание – институтские коридоры, где он прогуливается то с одним, то с другим сотрудником, заводя бесконечные обсуждения. А если и проникает в свой кабинет, то не сидит, а прохаживается вдоль окон или стены – длинными его ногам, видимо, противопоказан покой. Сейчас он сидел, и это, не сомневаюсь, должно было подчеркивать важность разговора. Он положил на стол волосатые, лопатой, ладони, вытянул ноги под столом и не сводил с меня настороженного, но, в общем, доброго взгляда – под кустистыми бровями на узком лице, перегороженном, как барьером, огромным носом, глаза его, ярко-голубые, посверкивали, как подоженные изнутри. У него, конечно, красочная физиономия, у нашего прославленного астрофизика Огюста Ларра, в Портретном зале Академии наук только президент Академии Альберт Боячек может соперничать с ним в выразительности лица.

А Карл-Фридрих Сомов, заместитель по общим проблемам, сидел у торца директорского стола и, не глядя на меня, что-то писал и черкал в обширном блокноте. Он притворялся, что инициатива вызова принадлежит Ларру, а не ему. И то, что он вызывающе отстраняется от беседы, предоставляя ее директору, хотя каждому в институте ведомо, что именно Сомов, а не Ларр занимается всем, что не имеет сугубо научного содержания, сразу возмутило меня. Если Сомов хотел настроить меня давать сдачи в ответ на любое принуждение, то мог заранее рассчитывать на полный успех.

– Друг Мартын, нам хорошо известно, что вы невиновны в несчастье в ротонной лаборатории, – так дипломатично начал Огюст Ларр. Он, несомненно, планировал умелой фразой смягчить ожидаемую от меня резкость. И план его, естественно, имел бы успех, если бы сам Ларр не испортил его последующими словами: – Но вы были посвящены во все детали исследований Сабурова, знали его цели и намерения, он делился с вами своими идеями...

Я понял, что нужно немедленно поставить межи разговору, ибо он грозил безбрежно расплыться.

– Детали экспериментов я, конечно, знал. О целях, которые ставил себе Сабуров, иногда догадывался. Что до идей, то они являлись ему столь густо и были столь разнообразны, что он и сам в них не всегда разбирался, а уж поделиться ими зачастую забывал.

– Но его намерения...

– То же относится и к его намерениям. Я полагаю, речь идет об экспериментах, а не общечеловеческих свойствах? В быту его намерения были обычны: поесть, если уж стало невтерпеж после пропуска обеда пропускать еще и ужин, поспать часок днем после бессонной ночи. Тут он был такой же, как вы или я.

– Вы считаете обычным быть таким, как вы? Но, друг Мартын, общее мнение в институте, что если и поискать необычностей, то лучшего примера, чем даете вы, не найти.

– В институте № 18 ошибаются не только в научных экспериментах, парировал я. – Однако не понимаю: вы вызвали меня для обсуждения моего характера?

– Вы сами догадываетесь: не для этого. Мы пригласили вас, чтобы разобраться в причинах взрыва в ротонной лаборатории.

– Вы недовольны отчетом вами же назначенной следственной комиссии? Разве она не зафиксировала все обстоятельства трагедии?

– Ваше мнение не отражено в выводах комиссии, а оно существенно – вы были самым близким сотрудником Сабурова.

– Во время взрыва и последующего расследования я находился в командировке на дальних планетах, поэтому не мог приобщить своих показаний к тому, что комиссия установила.

Последние эксперименты Сабурова мне неизвестны. И у меня не было никакого желания знакомиться с ними. Я не из тех, кто сует свой нос в дела, от которых его бесцеремонно отстраняют.

– Вы написали мне, что просите перевода, потому что вас заинтересовали другие темы, – мягко напомнил директор.

Я не сдержал горечи.

– А как было писать? Что Кондрат указал мне на дверь? А ведь было так! Не просто указал на дверь, а схватил за шиворот и пытался вытолкнуть в коридор. Только то, что я много сильнее его и не постеснялся доказать ему это, спасло меня от вылета наружу. Этого было достаточно, чтобы я навсегда перестал интересоваться всем, что Сабуров делает в лаборатории. Не требуйте от меня никаких показаний. Я не уверен, что они смогут быть объективными.

Ларр, по всему, не ожидал такого отпора. И тут в беседу вступил Карл-Фридрих Сомов. Я никогда не разделял ненависти Кондрата к первому заместителю директора. Но и мне неприятен этот сухой педант – широкое, безжизненно-желтоватое лицо, желтые волосы, желтые глаза, удивительно скучный голос. Кондрат и голос его со злостью называл желтым. Вообще, мне кажется, каждый несет свой особый основной цвет и его можно фиксировать фотометром и вносить в паспорт, наряду с группой крови и пейзажем линий на пальце, как важное индивидуальное отличие. Например, в этой шкале цветов Кондрат был бы пламенно-малиновым, Адель – тонко-салатной, Эдуард томно-фиолетовым, а наш директор Огюст Ларр – мощно-оранжевым: ведь оранжевый проникает сквозь туман и пыль, а разве такое проникновение сквозь темень научных проблем не является характерной чертой академика Огюста Ларра, многолетнего директора Объединенного института № 18?

Карл-Фридрих Сомов сказал, как бы нехотя глянув на меня глубоко посаженными тусклыми глазами:

– Ваши отношения с Сабуровым имеют для нас важное значение, друг Мартын. Вы, очевидно, не соглашались в чем-то с методикой его экспериментов. Последующие события косвенно оправдывают ваше враждебное отношение...

Я прервал его:

– Я не был врагом Сабурову. У Кондрата не было врагов. Впрочем, ошибаюсь. Один враг у него в институте все-таки был.

– Назовите его! – Сомов, конечно, знал, кого я имею в виду, и шел напролом.

– Этот враг – вы! Только вы, и никто другой!

Ларр молча переводил удивленный взгляд с меня на Сомова и снова на меня. Я твердо решил высказать Сомову если не все, то многое, что думаю о нем. Он не показал ни удивления, ни гнева. Лишь с издевательской вежливостью попросил объяснения. На мгновение даже тусклые глаза его вспыхнули.

– Значит, вы наносите мне личное оскорбление? Я правильно понял?

– Неправильно, конечно. Не оскорбляю, а деловито квалифицирую ваше отношение к Сабурову.

Ларр счел, что нужно вмешаться в перепалку, опасно уведившую разговор от намеченной темы.

– Друг Мартын, мне неприятно ваше высказывание. В институте нет вражды. Соперничество, соревнование, споры – да, но не вражда.

Я молча пожал плечами, дав им обоим понять, что имею свое мнение о взаимоотношениях в институте – и хоть не намерен всюду кричать об этом, они с моим мнением должны считаться.

Карл-Фридрих Сомов принадлежал к людям, которых резкое суждение не способно сбить с толку. На его широком лице засветилась усмешка. Иногда он изменял своей камуфлирующей неприметности. Сейчас был такой редкий случай. Мне показалось, что ему даже приятно

обвинение во вражде к Сабурову и что он не прочь признаться в ней, только мешает категорический запрет Огюста Ларра.

Опять заговорил директор:

– Мы имеем официальный отчет о несчастье в Лаборатории ротоновой энергии. Отчет добросовестен и точен, но не полон. Дело в том, что сохранились дневники Сабурова, и они показывают, что, кроме научных интересов, связанных с ротоновыми исследованиями, были и сугубо личные. Нам важно установить в его экспериментах меру личного и производственного, думаю, эти два термина, «личное» и «производственное», всего точнее характеризуют задачу. И мы хотим поручить ее решение вам. Вы лучше всех в институте способны разобраться в загадках трагедии и дополнить официальный отчет очень важными деталями.

– У меня теперь иные научные темы, – сказал я.

– Они не срочные. Мы разрешим вам временно законсервировать свои исследования.

Я задумался. Разумеется, я понимал, что проблемы ротоновой энергии несравненно значительней того, что я нынче изучал в своей крохотной лабораторийке. И, естественно, после гибели Кондрата именно я был всех компетентней в ротоновых экспериментах. Скажу даже, если бы руководство института, задумав восстановление ротоновой лаборатории, поручило другому разобраться в загадках взрыва, я был бы уязвлен. Но воспоминание о ссоре с Кондратом мешало сразу ответить «да». Я думал об Адели Войцехович и об Эдуарде Ширвинде. Они воспримут мое возвращение к ротоновым делам как попытку свести посмертные счета с Кондратом. Не считаться с их чувствами я не мог.

– Мы понимаем ваши колебания... – осторожно сказал директор.

– Вряд ли, – отрезал я. – Мои колебания к науке отношения не имеют. В общем, я согласен.

По тому, как облегченно вздохнул Огюст Ларр, было ясно, что он не надеялся на столь быстрое согласие. Даже сухарь Сомов радостно ухмыльнулся. Оба эти столь непохожие один на другого человека одинаково неверно воспринимали меня. Впрочем, не одни они преувеличивали дурные свойства моего характера, я привык к таким преувеличениям. И даже научился использовать превратное представление о себе как о несдержанном и резком до грубости – охотно признаюсь и в этой маленькой деловой хитрости.

Сомов протянул мне пухлую папку с бумагами.

– Здесь отчет комиссии и дневник Сабурова. Они вам понадобятся.

Я отвел рукой папку.

– Не сейчас. Раньше составлю собственное мнение о происшествии, потом буду сверять его с отчетом и дневником.

– Еще одно, друг Мартын, – сказал Огюст Ларр. – Вам будет предоставлено право вызывать к себе любого сотрудника для вопросов. И если захотите поговорить со мной или с Сомовым, можете требовать и нас к себе.

– Непременно воспользуюсь этой привилегией, – пообещал я и ушел.

В моей лаборатории были свои маленькие загадки и срочные проблемы. Но они меня больше не интересовали. Придя туда, я выключил приборы, остановил генераторы и попросил повесить пломбу на дверях.

– Месяц меня здесь не будет, – сказал я сотрудникам, их было трое, хорошие, работающие парии. – И вас тоже не будет. В Австралии сейчас весна. Почему бы вам не позагорать на пляжах Тихого океана?

Чудаки даже не поинтересовались, отчего неожиданный перерыв в работе. Впрочем, они всегда ворчали, что я тиран и что им не хватает времени даже на еду, не говоря о «полнометражном сне» – так они именовали свои мечты о безделье. Уверен, что еще не кончился день, как вся троица катила куда-нибудь подальше от Столицы и адресов своих мест отдыха предусмотрительно но оставила.

А я пошел в институтский парк. По графику Управления Земной Оси в районе Столицы сейчас значилась осень – метеорологи только гармонизировали природный климат, а не заменяли его своими искусственными разработками.

Я сел на скамейку у озера. Ласковый ветерок морщил воду, шелестел в желтеющих липах и вязах. По небу пробежали быстрые яркие облачка, на высоте, видимо, дуло сильнее, чем на земле. Мне было хорошо и скверно. Хорошо от картины воды и облаков, от теплого ветра, овевающего лицо, от смутного бормотания деревьев и еще от того, что несправедливость отстранения меня от любимого дела теперь отменена и мне выпадает судьба восстановить важные эксперименты. Некогда я весь, всеми мыслями, всеми чувствами жил ими, а недавно горевал, что они стали недостижимо далеки... И было скверно, что к радостной перспективе восстановления ротонной лаборатории надо идти мучительной дорогой – разбираться в ошибках и просчетах Кондрата, в своих ошибках и просчетах, они, несомненно, тоже были, и снова переживать со всей душевной болью и нашу с ним ссору, и его такую нелепую, такую немыслимую гибель...

– Ладно, держи себя в руках! – вслух сказал я. – Ты на людях сохранял невозмутимость, только наедине с собой позволял себе раскисать. Теперь умение показывать спокойствие понадобится еще больше. Ибо среди тех, кого тебе разрешено вызвать, первыми будут Адель и Эдуард. Не завидую тебе, старина. Впрочем, им будет еще трудней. С чего ты начнешь?

Я начал с воспоминаний: велел своей памяти восстановить, как начиналась проблема ротонной энергии, кто ее начинал, как шла работа. Нет, я не вспоминал расчеты, я видел лица, а не формулы, вникал в души, а не в цифры. Меня окружили те, кого я так долго любил, кого поддерживал и кого опровергал. Был полдень, когда я вышел в парк, светлый полдень перешел в хмурый вечер, вечер превратился в недобрую ночь, хлынул дождь, сбивая листву с шумящих деревьев, а я, закутавшись в плащ, не отряхивая усеивающих плечи мокрых листьев, все вспоминал, вспоминал...

## 2

Это было страшно давно, лет десять назад.

В нашем университете объявили публичную лекцию профессора из Праги Клода-Евгения Прохазки.

В научном мире всегда есть два рода гениев: общепризнанные, прославленные – чаще всего посмертно, – в общем, узаконенные реформаторы науки. И гении непризнанные: в их гениальности никто про себя не сомневается, но вслух этого не выскажут, ибо они ведут себя не так, как предписано вести гению.

Профессор Прохазка был ярким образцом такого никем не признанного, но несомненного научного гения. Он взрывал основы космологии – это было, естественно, актом гениальным. И он каждым своим словом, каждым новым расчетом не столько опровергал устоявшиеся воззрения, сколько оскорблял представителей этих воззрений. Его выслушивали, он умел заставлять себя слушать, но дружно отказывали в признании. Он изобретательно высмеивал оппонентов, устраивал публичные скандалы из нормальных дискуссий. Если в мире существовал академический дебошир, то его, вне сомнений, звали профессором Прохазкой.

И он известил столичный университет, что намерен провести открытую дискуссию на тему: «Как возникла наша Вселенная и что с ней сейчас происходит?» Легко догадаться, что его предстоящий приезд породил смятение у наших светил. Научный блеск иных стариков уже погасал, сияние других, помоложе, только разгоралось, но все они опасались, что в сверкающем пламени мятежных идей пражского профессора каждый потускнеет и потеряет уже завоеванный солидный облик.

Я пришел в актовый зал университета вместе со своей сокурсницей Аделью Войцехович.

Мне тогда казалось, что я в нее влюблен. Нет, Адель еще не была той красавицей, в какую потом превратилась. И она еще не выделялась нынешней роскошной укладкой салатных волос, так гармонирующих с блеском совершенно зеленых глаз. Разумеется, она и тогда была мило-видна. И все же была скорей простушка, чем богиня. Ни особого интереса к науке, ни тем более научных успехов в ней отдаленно не угадывалось. Она говорила мне о родителях, о детских увлечениях, о местах, где родилась и училась, – какие-то леса и поселки возле древнего польского городка Ольштына; те места, по ее рассказам, были чем-то вроде маленького филиала райских угодий. В общем, кто знает нынешнюю Адель Войцехович, доктора и профессора астрономии, несомненного в будущем академика, тот и не поверит, что она могла быть такой, какой я ее знал, когда мы были студентами.

Мы явились за час до начала лекции, чтобы раздобыть хорошие места. Но не одни мы проявили предусмотрительность.

Зал был уже заполнен. Мы с Аделью осматривались в проходе: не углядим ли где свободного кресла? Нас окликнул невысокий, плотный – он уже и тогда начал полнеть – юноша:

– Друзья, идите сюда! Специально для хороших людей храним два местечка.

Он снял какие-то вещи, положенные на соседние кресла и свидетельствовавшие о том, что они заняты. Адель уселась рядом с ним, я поместился крайним в четверке. Полный юноша весело сказал:

– Кондрат, хочу познакомить тебя с нашими новыми друзьями.

– Мартын Колесниченко, будущий ядерщик. – Я протянул руку второму парню.

– Кондратий Петрович Сабуров, космолог, – представился тот.

Кондрат говорил на хорошем международном языке, общепринятым для знакомства, но, по русскому обычаю, называл отчество. Как древний аристократ, каким он, впрочем, не был, Кондрат гордился своим происхождением от сибиряков, в незапамятные времена покоривших дикий край. И он, надо сказать, знал те давние времена гораздо лучше нас и не упускал случая щегольнуть своими знаниями.

А я отметил в те минуты знакомства, что он сказал не «будущий космолог», а именно «космолог», хотя по годам еще не мог выйти из студенчества. Самоуверенность – его характерная черта; к любому своему намерению он относился так, словно оно уже осуществлено, и требовал такого же отношения от нас.

– Адель Януаровна Войцехович, будущий астроном, – сказала Адель, протягивая руку Кондрату.

Она, думаю, бессознательно подделалась под его манеру называть себя. Впоследствии она поддельвалась под его прихоти сознательно и достигала быстрого успеха – этого умения у нее не отнять.

Полный юноша сказал:

– Теперь, когда ты познакомился с соседями, представь им и меня. – И, не дожидаясь, пока медлительный Кондрат отреагирует, он весело протянул руку Адели: – Адочка, я – Эдик Ширвинд, специальности не называю: пока не имею, а в будущем – не уверен, какая получится. Естественно, прошу любить и жаловать. Согласен даже на исполнение половины просьбы – только любить. Но в этом случае – крепко!

Мы смеялись. Так со случайной встречи на лекции приезжей знаменитости началась наша дружба. Возможно, для каждого из нас, не для одного Кондрата, было бы лучше, если бы этого знакомства не произошло. Но что было, то было. Предвидением грядущего никого из нас природа не одарила.

Эдик шутил, пока на кафедре не взошел Прохазка. В прошлом году он умер, и теперь его могут видеть на всех континентах: портреты его вывешены не только в университетах, но и в школах. Посмертного признания он удостоился. Но тогда мы увидели его впервые – зрелище из впечатляющих. Невысокий, но такой широкоплечий, что выглядел почти квадратным,

огромная голова, а на голове чудовищная копна серых от густой седины волос, и каждая волосинка, как наэлектризованная, отталкивается от соседней и торчит самостоятельно, щеки впалые, как у смертно голодающего, нос вряд ли поменьше, чем у нашего Огюста Ларра, а в довершение пейзажа – именно этим словом сформулировал Эдуард впечатление от облика Прохазки – голосок, очень сильный, очень резкий и такой высокий, что, казалось, не проникал в наши уши, а пронзал их. Первые же слова профессора вызвали физическую дрожь – так непривычен был этот острый звук.

Я говорил, что каждому свойствен свой цвет. Профессор Прохазка был синим. Я видел ясно, что у него красноватые, как у индейца, щеки, это было далеко от синевы, но излучал он в синих тонах, он был всем в себе словами, мыслями, темпераментом – убивающе синим. Эдуард потом уверял, что в помещениях, где долго обретается Прохазка, чахнут мухи и гибнут комары. Он шутил, но в каждой шутке гранула правды.

Своеобразная известность Прохазки заставляла ожидать с первых же слов каких-то необычных утверждений. Но он начал с понятий, известных и школьнику. Он поведал аудитории, что в двадцатом веке ученые заинтересовались происхождением Большой Вселенной. И в том же двадцатом веке «согласились о нижеследующем» (и в этом выражении прозвучала свойственная Прохазке издевка): существовал-де некогда нерасчлененный сгусток материи, а вокруг безграничное пустое пространство. И вот неизвестно по какой причине первоначальный комок сверхплотной материи взорвался, и все его куски стали с бешеной скоростью разлетаться в безграничном пространстве. И часы истории Вселенной пошли. В первые мгновения взрыва почти вся взорвавшаяся материя превратилась в фотоны, то есть в свет. Таким образом, в начале Вселенной был свет – в резком голосе Прохазки снова прозвучала ирония. Фотоны быстро трансформировались в стандартные ныне протоны, нейтроны, электроны, позитроны, нейтрино и прочие частицы, а частицы стеснились в звезды и скопления звезд галактики. Галактики продолжали разлетаться от места взрыва, и которая была побойчей, убежала подальше, а медлительные отставали. Явление это назвали «расширением Вселенной в результате Большого Взрыва». Сосчитали даже скорость бегства галактик от места, где Первичный Взрыв надал им пинка в беспредельное пространство. И обнаружили, что в дальнем далеке бесконечной Вселенной звездные беглецы так быстро мчатся, что уже подошли к скорости света – тремстам тысячам километров в секунду: воистину бег без памяти к границе физического бытия! А дальше, видимо, провал в бездну несуществования. Вот такой рисовалась в двадцатом веке Большая Вселенная: первоначальный взрыв и бешеное разбегание всей материи, а на бегу формирование нынешних звезд, галактик, скоплений галактик.

– Пока довольно тривиальная картина Вселенной, шепотом прокомментировал Эдуард начало лекции. – В общем, будь профессор студентом в нашем университете, ему поставили бы тройку. Со строгим указанием на нестрогость формулировок.

Прохазка, закончив почти веселое изложение разработанных в двадцатом веке космологических гипотез, перешел к их критике. Много слабых мест было у теорий, по на них долго не обращали внимания, увлеченные красивой картиной Вселенского Взрыва. И главная слабость – загадка пространства. Ну, хорошо, имелась первичная глыба нерасчлененной материи, и та глыба, содержащая в себе все вещество мира, неведомо почему взорвалась и разлетелась в пространстве. А само пространство уже было? Или тоже возникло в момент взрыва? О физическом времени уже в двадцатом веке согласились, что до взрыва его не было, мировые часы стали отсчитывать секунды, минуты, годы, миллионы лет, лишь когда нынешняя Вселенная начала существовать. А загадку пространства игнорировали. Забыли, что еще великий Ньютон называл пространство «чувствовалищем бога», указывая тем самым на особое его значение во Вселенной. Наличие пустого беспредельного пространства было величайшей тайной мироздания, и сколь долго этого не понимали?

Я пока излагаю то, что вам и без меня хорошо известно, с аффектацией возвестил Прохазка. А теперь обязан высказать мои собственные недоумения. Почему, я спрашиваю, никто не увидел того, что прямо-таки бросалось в глаза? Вещество таит пространство в себе, пространство же никакая не геометрическая пустота, а нечто вещественное – вот такого понимания требовала логика, но простого этого понимания не усвоили самые здравомыслящие головы. В головах зияла все та же абсолютная пустота – я говорю о восприятии пространства, а не о всем прочем содержимом голов. И в этой беспредельной пустоте бешено разлетались атомы, кванты, звезды, галактики... И ничто им не мешает мчаться к бездне, физическому пределу скорости. Ибо «убег» совершается в невещественной пустоте, а пустота сопротивления не оказывает.

– Кажется, начинает стучать кулаком по столу, удовлетворенно прошептал Эдуард. Столь развившаяся потом в Эдуарде любовь к научным скандалам в зародышевой форме была уже и тогда.

Прохазка перешел к сути своей теории. Уверен, что именно на той университетской лекции, на которой мы вчетвером присутствовали, он впервые высказал ее в полноте. И он торжественно объявил, что первоначальный Большой Взрыв полностью принимает, одновременно отказываясь, как и все его предшественники, от объяснения, почему материя взорвалась. Взорвалась – и все, душа из нее вон! Зато категорично отрицает тот характер Большого Взрыва, какой ему доныне приписывается. Взорвалась не материя, взорвалось, верней, вырвалось пространство. Первоначальное безмерно плотное вещество существовало не только вне времени, но и вне пространства. Все мгновенно народилось в тот удивительный момент: время, движение, объемы, расстояние, массы, плотности, силовые поля, заряды – в общем, все то, что мы сегодня называем физическими характеристиками объектов Вселенной. – Лихо, даже очень лихо! – пробормотал Эдуард. Никто из нас не отозвался. Гипотеза Прохазки была слишком серьезна, чтобы сопровождать ее ироническими репликами.

Итак, взрыв произошел оттого, что народилось пространство и разметало первоначальную массу, продолжал Прохазка. Вещество исторгалось, парило, дымило пространством – и разлеталось, и раздрабливалось в новосотворенных просторах. Не вещество мчалось в пустом беспредельном пространстве, а оно, только что народившееся пространство, разбрасывало вещество, расширялось, стремилось к беспредельности. И в те первоначальные мгновения скорость новообразования пространства была столь исполински велика, что постороннему взгляду, если бы он существовал, показалось бы, что частицы вещества разлетаются одна от другой с быстротой света. А значит, сами частицы могли быть только фотонами, ибо один свет обладает максимальной скоростью. Вселенная в момент своего создания была неистовым, всепоглощающим светом, как справедливо считали космологи уже в двадцатом веке, неправильно, впрочем, интерпретируя это явление.

По мере выброса непрерывно исторгаемого из вещества пространства скорость его расширения падала, и это было равнозначно тому, что падает скорость частиц, – они превращались из фотонов в электроны и протоны, нейтроны и нейтрино. И появилась новая сила – мировое тяготение. Оно тоже родилось в момент Большого Взрыва. Пространство, разбегаюсь, разбрасывало частицы вещества, тяготение стягивало их в кучи. И когда распирание пространства потеряло первоначальную неистовую быстроту, тяготение приступило к своей организующей роли – стало сгущать безмерные массы частиц в туманности, звезды и галактики. Так возникла современная Вселенная.

Пространство продолжает исторгаться из вещества, говорил Прохазка. И это означает, что Вселенная расширяется – в целом и в каждой точке, где имеется вещество. А нам воображается, что все объекты Вселенной отдаляются от нас благодаря собственной скорости разбега. Между космическими объектами взаимные их отдаления увеличиваются, но собственного бега нет, и звезды, и галактики отбрасывают одну от другой исторгаемое ими самими новое про-

странство. Еще в двадцатом веке заметили удивительный факт: чем дальше от нас звезды, тем они быстрее отдаляются. И никто не обратил внимания на несуразность: почему так неодинаковы скорости убегания разных звезд, ведь первоначальный Взрыв должен был наддать частицам одинаковое ускорение? Но если принять мою теорию, то парадоксы исчезают. Раз пространство одинаково везде новообразуется, то чем дальше объект от нас, тем больше между нами создается нового пространства, а это равнозначно тому, что у дальних объектов скорости удаления закономерно больше, чем у объектов близких.

И последнее, говорил Прохазка. Взрывное самоистечение пространства давно себя исчерпало. И видимо, интенсивность образования пространства продолжает падать, вещество все меньше и меньше исторгает его из себя. Это означает, что расширение Вселенной замедляется. В какое-то время вещество полностью растратит внутренние пространственные ресурсы. И тогда начнется обратный процесс – схлопывание Вселенной. Тяготение будет сжимать разрозненные массы, пока не сольет все вещество Вселенной в прежний сверхплотный комок. Вселенная возвратится к исходному пункту, где уже не будет ни пространства, ни времени, ни тяготения, ни выраженного в материальных частицах вещества.

– А потом новый Большой Взрыв создаст новую Вселенную, – не удержался от комментария Эдуард.

На этом Прохазка закончил. Правда, он еще демонстрировал на экране математические уравнения – они, естественно, свидетельствовали об абсолютной правоте его идей, – потом отвечал на вопросы и высмеивал оппонентов, такие тоже нашлись, – обычный ритуал его публичных выступлений.

Профессор принял букет ярких роз от покоренных слушателей и церемонно раскланялся.

Мы вчетвером вышли из зала.

### 3

Эдуард предложил погулять по университетскому парку – для остужения пылающих мозгов. Он говорил это всем, но глядел на одну Адель, и она за всех ответила согласием.

Не могу сказать, чтобы мне хотелось гулять в компании малознакомых людей, тем более что Эдуард слишком уж вызывающе кинулся в ухаживание за Аделью, не поинтересовавшись, нравится ли это мне. Он не сомневался, что ей-то понравятся комплименты, которыми он намеревался ее одарить, – и не ошибся. Я заметил, что и Кондрат не выразил прогулочного энтузиазма, он, кажется, даже хотел отказаться, чтобы в одиночестве поразмыслить о теориях Прохазки. Но я не мог оставить Адель наедине с Эдуардом и дружески взял Кондрата под руку. Кондрат посмотрел на меня удивленно. Он трудно сходил с людьми, и приятельские отношения у него надо было заслужить, а не запросто получить. Все же он молчаливо побрел с нами.

В парке творился отличный весенний вечер. Теплый ветерок шелестел листвой, перекликались птицы. Мы знали, разумеется, что вечер сработан по графику – Управление Земной Оси в последние годы трудилось без накладок. Но разве не все равно, сама ли природа приносит нам радостные дары, или ее вежливо и непреклонно принуждают быть доброй и щедрой?

– Профессор малость заврался, – сказал Эдуард. – Малость – в смысле очень сильно. Собираюсь доказать это. Где мы это сделаем?

– На первой свободной скамейке, – сказал я.

В парке не одни мы «остужали пылающие мозги». По всем дорожкам ходили пары, кучки и одиночки. Не найдя свободной скамейки, мы уселись на откосе берега. Внизу посверкивало мелкими волнами парковое озерцо, на другом берегу, уже вне университетской территории,

сиял широкими окнами Объединенный институт № 18. Адель подбодрила Эдуарда, ей показалось, что его вдруг одолела робость:

– Итак, Эдик, доказывайте, что профессор заблуждается.

Робость относилась к разряду свойств, абсолютно неизвестных Эдуарду Ширвинду. Он просто удобней усаживался на землю.

– Одну минуточку, Адочка. Какой-то сучок попал под это самое... Прохазка не заблуждается, а завирается. А это вещи разные.

– Мне не показалось, что он очень путал, – заметил я.

– Он увлек вас широтой концепции. Заворожил, покори́л, очаровал, восхитил. Он пользуется на трибуне недозволенными средствами художественного воздействия. Заметьте, ему одному подносят цветы на лекциях, такие подношения, словно он певец или музыкант, случались не только сегодня.

В отличие от Кондрата, да, пожалуй, и от меня, Эдуард был, конечно, умелый оратор. Я говорю «умелый», а не «прирожденный» или «блестящий» так точнее. Словесными красотоми он пренебрегал, разнообразием интонаций не брал, хотя отлично знал, что они воздействуют не только на женщин. Он покорял логикой, в этом было его ораторское умение. В тот весенний вечер особенного ораторского искусства и не требовалось, проблема была из простейших – для несложного вычисления, что тут же и доказала Адель. А говорил он о том, что нынешняя материя выделяет из себя нового пространства еще больше, чем в первоначальные минуты взрыва. Ибо что было тогда? Комок разлетающегося вещества! А что сейчас? Огромный космос! И границы его отстоят от нас на миллиарды светолет. Сколько же надо и сегодня превращать материального вещества в пустое пространство, чтобы стал возможен такой разлет?

Меня Эдуард убедил, хоть я старался подобрать контрдоводы. Как и многие люди – особенно если оппонент неприятен, – я не так даже стремился вдумываться в его аргументацию, сколько подыскивал возражения. В тот вечер Эдуард меня весьма раздражал, но убедительного опровержения я не придумал.

А Кондрат взорвался. Он так закричал на Эдуарда, что я удивился. Грубость не вязалась с обсуждением научной проблемы. Прошел не один год, пока я стал если и не оправдывать, то понимать Кондрата. Мы трое еще обсуждали прослушанную интересную лекцию, а он уже шел гораздо дальше. Кондрат защищал не Прохазку, а новые свои идеи, они были бы неверны, если бы был прав Эдуард.

– Вздор! – раздраженно крикнул Кондрат. – Чушь и чепуха! Скорость создания пространства не может расти! Прав Прохазка, а не ты.

– Возможно, прав Прохазка, а по я, – сказал Эдуард. – Но, друг мой Кондратий, зачем оратор об этом на весь парк? По-моему, надо проделать небольшое вычисление, и станет ясно, чепуха ли и вздор...

– Я уже сделала вычисление, – прервала его Адель.

Еще когда Эдуард доказывал, что Прохазка ошибся, Адель достала из сумочки карманный калькулятор. Если и был в нашем кругу человек, свято выполнявший завет древнего философа Лейбница, изобретателя дифференциального исчисления: «Не будем спорить, будем вычислять!», то им была именно она, пока еще простушка, пока только миловидная, а не красавица, только будущий астроном, а не светило космологии, наша зеленоокая, салатноволосяя Адель Войцехович. Слова она приберегала для выражения чувств и живописания жизненных целей. Для научных же проблем ей служили формулы и цифры. А сияние далеких окон Объединенного института № 18 давало вдосталь света для игры на клавишах карманного калькулятора.

Адель объявила:

– Исхожу из того, что высвобождение пространства зависит только от массы вещества и совершается всюду одинаково. Так вот, объем в один кубический сантиметр расширяется в год

на один сантиметр, помноженный на пять в минус десятой степени. Иначе говоря, удвоение объема космоса при современной скорости его расширения потребует что-то около пятидесяти миллиардов лет.

– Между тем возраст Вселенной определяется нынче всего в двадцать миллиардов лет, – сказал я, чтобы показать, что не безучастен к спору.

Кондрат с прежним раздражением сказал Эдуарду:

– Теперь ты понимаешь, что нынешняя скорость расширения космоса не годится для Большого Взрыва? Тогда выброс пространства разбрасывал материю со световой скоростью, отчего она и превращалась в фотоны. Категорически настаиваю на этом!

Эдуард снисходительно улыбался.

– Если категорически настаиваешь... Не ожидал, что это для тебя так важно, Кондрат.

– Важно! – отрезал Кондрат.

Не один день прошел, пока мы поняли, как воистину важно было Кондрату в этом споре оказаться правым.

Бурная вспышка Кондрата оборвала обсуждение лекции Прохазки. Да и поздно уже было. Кондрат пожал мне и Адели руку и позвал с собой Эдуарда. Эдуард пообещал догнать его, небрежно тряхнул мою руку, долго не выпускал руки Адели и сказал, что поражен ее пониманием трудных вопросов космологии и быстротой вычислений. Потом он побежал догонять Кондрата – побежал, а не просто поспешил за ним.

– Замечательные люди! – горячо сказала Адель.

– Что ты заметила в них замечательного?

Она не уловила моей иронии.

– Все, Мартын! Умные, остроумные. И такие друзья!

– Особенно чувствовалась дружба, когда Кондрат орал на Эдуарда.

Ирония наконец дошла до нее, а ума ей было не занимать.

– Скажи, а ты мог бы так закричать на чужого человека, как Кондрат на Эдуарда?

– Только если бы он смертельно оскорбил меня.

– И ты, думаю, не потерпел бы, если бы на тебя так закричали?

– Нет, конечно.

– Вот видишь. А Эдуард стерпел. И то, что Кондрат в научном споре кричит на Эдуарда, а тот не обижается, и есть доказательство дружбы, для которой подобные вспышки – мелочь.

Я промолчал. Она добавила:

– Но главное не их дружба. Мало ли кто с кем дружит! Мы с тобой тоже друзья. Они живут наукой! Наука у них – самое важное в жизни. Я бы хотела укрепить наше знакомство. Ты не возражаешь?

– Ты знаешь, Ада, твои желания для меня закон.

Я говорил искренно. Но жестоко бы соврал, сказав, что меня обрадовало ее желание. Умных парней хватало в университете и без этих двух. И меня огорчили ее слова, что мы с ней друзья. Сколько раз она доказывала мне, что мы больше, чем просто друзья! Я предугадывал, что новое знакомство внесет разлад в наши отношения. Перед входом в студенческую гостиницу я предложил подняться ко мне, она отказалась:

– Не сегодня. Мартын. У нас с тобой впереди целая жизнь.

Впереди точно была целая жизнь. Но общей жизни уже не было.

Ни она, ни я этого еще не понимали.

#### 4

Так я вспоминал начало нашей общей дружбы, кутаясь в плащ под дождем на берегу институтского озера. Уже наступила ночь, на другом берегу темнело здание университета,

наша ласковая «альма матер», наша «мать кормящая», где мы учились, где приобретали и теряли любимых, где из пытливых «сосунков науки», как мы сами себя тогда окрестили, постепенно превращались в мастеров мысли и знания.

Я рассердился на себя. Не о том думаю! Единственно важное красочный, бурноречивый Клод-Евгений Прохазка, его тогда еще мало кем признанная, теперь узаконенная теория Большой Вселенной. Именно из парадоксальной теории пражского профессора, из идеи непрерывного умножения мирового пространства и родилась работа Кондрата Сабурова, возникли все мы – «призовая четверка ошалелых гениев», как обозвал нас однажды Карл-Фридрих Сомов, потребовавший от меня сегодня анализа горестного финала столь блестяще начатых исследований. Истоки несчастья были в космологических теориях Прохазки, надо было размышлять о них, а я видел Адель и не хотел вникать в то короткое, так быстро ею проделанное на карманном компьютере вычисление, хоть и знал теперь, что существенно важным было оно, это маленькое вычисление, а вовсе не внешний облик Адели, ее зеленые глаза, шелест ее платья, запах ее духов, дразнящий смутными ароматами гвоздики, яблок и ананасов. «Твои духи так аппетитны, что ими можно насыщаться. Какое-то сладостное попури из плодов и цветов!» сымпровизирует однажды Эдуард и будет часто со смехом повторять свою не то остроу, не то комплимент. «У нас с тобой впереди целая жизнь», – сказала она, прощаясь. И, я понимаю, сказала это, в общем-то, не для меня, а для себя самой, ибо чувствовала, что знакомство с двумя новыми студентами станет барьером для наших с ней отношений. Я не жалею и не огорчаюсь. Наша любовь возникла случайно, распад ее совершился закономеренно.

– Опять не о том! – упрекнул я себя. – Адель да Адель! Не превращай свои личные неудачи в причину научных просчетов. Думай о Прохазке, думай об идеях Кондрата, такое тебе задание.

Задание было ясное. Но ясно было одно: все темно! И загадка была, конечно, но в Адели. Однако не думать о ней я не мог. Столько лет после я равнодушно смотрел на нес, спокойно с ней разговаривал. Но в тот вечер, когда мы слушали лекцию Прохазки, Адель была важной частью моего существования, и потому в воспоминании о том вечере она вдруг стала для меня важнее и Прохазки, и Кондрата, и Эдуарда, и всех наших дел. И я как бы вновь ходил вдоль общежития, смотрел на ее освещенное окно. Почему она так долго не гасит свет, почему не ложится, может, чувствует, что я еще здесь, внизу, может, раскроет окно и выглянет? Свет горел долго, вероятно, она читала в постели, потом окно погасло.

– Вот так и кончилась твоя любовь, – сказал я себе и рассмеялся. Никто в окно не выглянул, и ты пошел спать.

И помнится, спал хорошо. Любовные неудачи никогда не нарушали твоего спокойствия, немного подосадуешь, и все. Будешь теперь думать о буйном профессоре из прекрасного города Праги? Или вспомнишь пословицу предков: «Утро вечера мудреней»?

Я направился домой.

Утром я пошел в Лабораторию ротоновой энергии. И перед закрытой дверью остановился.

Ровно год я не переступал порога этого одноэтажного над землей, многоэтажного под ней здания. Действует ли мой шифр? В час нашей последней ссоры Кондрат гневно кричал: «И не смей приближаться к лаборатории! Я вычеркиваю твой шифр из памяти компьютера, как вычеркиваю облик из моей памяти!» В ярости он перебирал в угрозах – в лаборатории хранились мои вещи, он не мог запретить мне прийти за ними. Но я не пришел, я все бросил, перечеркнул прошлое навеки, как мне казалось. И я не захотел проверить, так ли абсолютен запрет. А потом был взрыв – сожженные генераторы, гибель Кондрата... Возможно, никакие шифры теперь недействительны. Придется тогда просить разрешения на принудительное открытие дверей. Так, наверно, входили в лабораторию члены следственной комиссии: ведь ни у кого из них не было личного шифра входа.

Долгую минуту я рассматривал массивную дверь. Никаких следов повреждений! Та же угрюмая поворотная махина, какую шесть лет я ежедневно созерцал, ежедневно же возмущаясь, что на вход приходится тратить сорок секунд, бесценные сорок секунд, которые можно использовать куда эффективней, чем на лицезрение тупой броневой плиты. А когда я говорил Кондрату, что он отделился от внешнего мира слишком неповоротливыми механизмами, он ухмылялся: «Зато надежными, Мартын. Кстати, зачем ты пялишь глаза на дверь? Думай о своих делах, пока компьютер высчитывает, достоин ли ты входа». Он считал, что каждый способен так самозабвенно предаваться размышлениям, как он. Эдуард уверил, что как-то дверь открылась, побыла открытой, потом снова закрылась, а за ней стоял Кондрат, который настолько задумался, что забыл переступить порог.

Без уверенности, что механизмы работают, я положил левую руку на пластинку в небольшом углублении. Ничто не показало, что линии моей ладони прочитаны. Впрочем, и раньше все совершалось без шума, только Адель с ее слухом летучей мыши различала какие-то там подрагивания и поскрипывания, до меня они не доходили. Я поглядел на часы, секунды плелись еще медленней, чем при Кондрате. Стрелка проползла цифру сорок, входа не было. Я еще постоял секунд пять и повернулся уходить. Но на пятидесятой секунде дверная плита задвигалась, я поспешил вернуться, раньше вход открывался только на десять секунд, сейчас могло быть и того меньше. Переступив порог, я вновь взглянул на часы. Дверная плита, закрылась через одиннадцать секунд. Все было, как до моего ухода из лаборатории, лишь чуть замедленней – возможно, последствия взрыва. И шифр мой действовал, Кондрат не стер его из памяти компьютера. Я еще по знал, почему он не выполнил своей угрозы, но мне это было приятно.

Я вынул из кармана два датчика мыслеграфа и закрепил их за ушами. Теперь все, о чем я подумаю, что увижу, услышу, даже все, что почувствую, будет зафиксировано на бесстрастной пленке моего личного самописца. В помещениях вспыхивали светильники, я переходил из комнаты в комнату. И здесь все было на своих местах, все было цело. Как будто и не произошло взрыва, и никто не погиб, лишь временно прекращены работы. Перед комнатой Кондрата я остановился. Мне не хотелось в нее входить, но входить было нужно. И в ней ничего не переменялось – стол, два стула, диван, компьютер с дисплеем, шкаф для документов, шкаф для приборов и приспособлений. Над столом четыре портрета – Ньютона, Эйнштейна, Нгоре и Прохазки. На стене против дивана Ферми и Жолио. Кондрат редко бывал в своей комнате, он любил ходить, а здесь не хватало простора. Внизу, в обширных подвальных помещениях, среди тесно сомкнувшихся механизмов он чувствовал себя свободней – одна из тысяч его странностей. Впрочем, для этого поразительного человека наиболее странным было, когда он становился похожим на других.

Я заглянул в комнаты Адели и Эдуарда, но не стал в них задерживаться. Даже духа бывших хозяев не ощущалось в этих самых роскошных помещениях лаборатории. Еще при мне Кондрат с яростью выметал, выбрасывал, выскребывал все, что хоть отдаленно напоминало о ней и о нем. Сам он сюда никогда не заглядывал, мне эти комнаты были не нужны, только компьютер порой включал автоматические пылесосы. «Что же осталось в моей комнате?» – думал я. Ведь ссору со мной Кондрат переживал сильней, чем разрыв с Аделью и Эдуардом.

Пораженный и растроганный стоял я посреди своей комнаты. Ничего не изменилось в ней. Будто я не год назад, а только вчера покинул ее. Если бы сюда заходил посторонний, он непременно что-нибудь изменил бы и переставил: стул, стоявший боком к столу, так и присился придвинуть его поаккуратней, настольная лампа – я любил это древнее световое приспособление – по-прежнему торчала на краю стола. Я всегда ставил ее на самый край, чтобы побольше было на столе свободы, – коснись кто неосторожно, вмиг упадет. Нет, не упала, не сдвинута к середине. Я сел за стол, выдвинул ящик – там, на кучке бумаги, лежал наискосок мой калькулятор. Хорошо помню, что бросил его именно наискосок, времени не было попра-

вить. Вот он лежит, придавив своей тяжестью легкие пластиковые листочки, ни разу за год моего отсутствия его не коснулась чужая рука...

И хотя ничего в моей комнате не изменилось, я не ощущал в ней заброшенности. Ничто не свидетельствовало, что ее посещали, но я сразу уверовал, что Кондрат в ней бывал: входил, пересекал по диагонали, останавливался, осматривался и уходил – так случалось, когда я в ней работал, так происходило и после нашего разрыва. Только Кондрат мог двигаться в этой небольшой комнатухе, ни до чего не дотрагиваясь. Нет, здесь не было уважения ко мне, скорей уж мщение: вот ты ушел, мне трудно без тебя, так смотри – ничего не беру, ничего не меняю, все твое, твое! Тебя нет – есть недобрая намять о тебе! С Аделью и Эдуардом он вел себя по-иному.

Я достал из стола чистый журнал для записей и на первой странице вывел заглавие: «Лаборатория ротоновой энергии. Создание и гибель замысла».

Тема теперь была обозначена ясно. Оставалось расчленить ее на важнейшие события и каждое исследовать особо. Кондрата, будь он жив, взбесила бы моя педантичность, он выходил из себя всякий раз, когда я разрабатывал методику очередного эксперимента. Он привык скакать через ступеньки. Ему это удавалось. Но я не обладал его чудовищной прозорливостью. Историю исследований Кондрата я мог описывать лишь шаг за шагом, а не теми гигантскими прыжками, как она реально мчалась к трагическому финалу.

И я вывел на второй странице:

Основные ступеньки движения

1. Знакомство на лекции профессора Прохазки.
2. Туманные идеи Кондрата Сабурова.
3. Содружество четырех. Идеи проясняются.
4. Диплом и назначение в Объединенный институт № 18.
5. Лучезарный Огюст Ларр и зловещий Карл-Фридрих Сомов.
6. Лаборатория ротоновой энергии получает первое признание.
7. Женитьба Сабурова и бегство Ширвинда.
8. Эдуард Ширвинд возвращается.
9. Карл-Фридрих Сомов ставит палки в колеса.
10. Сабуров обнаруживает ошибки в своей теории.
11. Измена Адель Войцехович и Эдуарда Ширвинда.
12. Изгнание Мартына Колесниченко.
13. Взрыв.

– Отличная программа! – произнес за моей спиной насмешливый голос. Если не ошибаюсь, друг Мартын, вы собираетесь писать детективный роман в древнем стиле – таинственные преступления, любовные страсти, злобные противники и прекраснодушные покровители... Не так?

Я вскочил. Позади стоял Сомов. Его глубоко посаженные глаза горели, широкое лицо кривилось в усмешке. Он наслаждался, словно поймал меня на скверном поступке, которого заранее ожидал. Я возмутился:

– Кто дал вам право вторгаться в мою комнату? Я не посылал разрешения на вход.

Усмешка слетела с его лица, как сдернутая маска. Теперь он глядел холодно и хмуро. Тысячи раз я видел его таким.

– Обращаю ваше внимание на две ошибки, друг Мартын. – Голос звучал бесстрастно и отстраняюще – тот «желтый» голос, каким он разговаривал с подчиненными. Во всяком случае, со мной – всегда. – Первая: заместителю директора института не требуется иного разрешения на вход в любую лабораторию, кроме его личного шифра. Вторая: эта комната не ваша, а бывшая ваша. Если вы того пожелаете, она снова станет вашей. Но вы такого желания пока не высказывали.

Во мне все сильнее закипал гнев.

– Даже положение заместителя директора не дает право высматривать через мое плечо, что я пишу.

– Третья ошибка. Я не заглядывал вам за плечо. – Он показал на дисплей настольного компьютера, на нем сияла исписанная мной страница. Советую в другой раз использовать старинные карандаши, а не современное стило, переносящее каждую букву на экран. Укажу и на четвертую ошибку. На дисплее изображена программа расследования катастрофы: именно то задание, которое мы с Ларром вам предложили. Стало быть, нет вины в том, что я случайно с ней познакомился.

Я взял себя в руки.

– Все логично. У вас есть замечания к программе?

– Пока стилистические. Лучезарный Огюст, зловещий Карл-Фридрих, бегство Ширвинда, измена, изгнание... Не слишком ли много цветистой старины даже для любителя старинного стиля? Например, вот это: «ставить палки в колеса»! Колесный транспорт можно увидеть только в музеях. К чему в век ракет и антигравитаторов такие древние термины?

– Хочу доказать, что и в наш век антигравитаторов иные старинные выражения точно отражают реальность.

Он сел, не дожидаясь приглашения.

– Ваше право. Как вы догадываетесь, я пришел не для того, чтобы вычитывать с дисплея предварительную программу вашего расследования. Будет день, вы сами доложите мне методику поиска.

– Результаты, а не методику, – поправил я. Сомов многого хотел. Наши личные отношения, сколь ни важны они были для Кондрата и меня, Карлу-Фридриху Сомову раскрывать я не собирался.

Он пожал плечами.

– Границы установите сами. Я не любитель старинных детективов, так что с этой стороны можете оставаться спокойным.

– Итак, вы пришли сюда ради того, чтобы... – напомнил я.

– Совершенно верно: чтобы вручить вам эту папку с документами лаборатории.

Он протянул толстый пакет, который держал в руках. Я сказал:

– Разве я не говорил вам с Ларром, что отчет комиссии, расследовавшей катастрофу, и личные дневники Сабурова меня пока не интересуют? Я обращусь к ним, когда стану сверять свое мнение с официальными выводами.

– Вот, вот! Пусть все эти документы будут у вас под рукой, когда понадобятся. Кстати, здесь не только доклад комиссии и дневники Сабурова, но и рабочие журналы лаборатории. Без них вы вряд ли восстановите в памяти все детали экспериментов.

Я положил пакет на стол. Было что-то раздражающее в настойчивости, с какой Сомов стремился заранее воздействовать чужими мнениями на мое не сложившееся пока собственное мнение.

– Кажется, вас беспокоит, что мое заключение будет сильно отличаться от того, какое вы хотели бы получить?

Он хладнокровно снес мой выпад.

– Почему вам так кажется?

– Ну знаете, Карл-Фридрих!.. Наши с вами отношения никогда не были дружескими. Эдуард острил, что если всюду, где вы говорите «да», поставить «нет», то будет сносно. Но до этого с вами трудно.

– Ширвинд хорошо острил, мне часто нравились его шутки. И отношения с вашей блестящей четверкой могли быть лучшими, чем реально были. Но какую это имеет связь с сегодняшней беседой?

– А ты, – резко сказал я, – что мы всегда были вам нежеланны в институте. И особенно был неприятен я. Разве вы не жаловались на мою бесцеремонную прямоту еще больше, чем на грубость Кондрата? И сомневаюсь, что вам нравились остроты Эдуарда! Уверен, что из всех кандидатур в расследовании трагедии с ротонами моя – самая для вас неприемлемая. Могу представить себе, какой нажим оказал директор на вас, чтобы вы согласились привлечь меня, а не другого.

– Вашу кандидатуру предложил я, а не Ларр, – холодно возразил он. – И могу информировать, что он согласился только под моим нажимом.

Я бы жестоко соврал, если бы сказал, что ожидал такого признания. На какую-то минуту я растерялся. Сомов пристально и спокойно глядел на меня.

– Все-таки, думаю...

Он прервал:

– Будет еще время разобраться во всех «почему» и «отчего». Сейчас вы знаете, что я сам пожелал вашей кандидатуры, и это облегчит мою просьбу к вам.

– Вы сказали – «просьбу»?

– Я сказал – «просьбу». Она такова. Со временем ваши выводы станут известны всем. Но пока они не отлились в окончательную форму, не делитесь своими соображениями ни с кем. Особенно с вашими друзьями Войцехович и Ширвиндом. Они, вы сами понимаете, пристрастны.

Я снова сделал ошибку. В этот первый день расследования мне предстояло непрерывно ступать на тропки, уводящие от истины.

– Я толкую ваши слова, Карл-Фридрих, что посвящать в свои предварительные соображения я должен только Ларра и вас?

– Вы неправильно толкуете мои слова, друг Мартын. Только меня. Академик Ларр относится к тем, кого нельзя знакомить с фактами, не получившими завершенной оценки. И скажу откровенно: я настаивал на вашей кандидатуре не только потому, что вы лучше всех знаете ротонную лабораторию, но еще и потому, что с вами надеялся легче, чем с другими, достичь такой договоренности.

– Карл-Фридрих! Что кроется за вашими странными просьбами?

– Только одно. Огюст Ларр – выдающийся энтузиаст чистой науки. Но я опасаясь, что в вашем расследовании обнаружатся обстоятельства, весьма далекие от специфических научных задач. Зачем подвергать испытанию глубокую мысль и чуткую совесть нашего руководителя?

Нет, решительно в этот день мне суждено было нагромождать одно заблуждение на другое!

– Это звучит так, словно вы опасаетесь раскрытия каких-то преступных действий, задевающих вас лично!

– Преступных действий? И задевающих меня лично? Уж не подозреваете ли вы, что какие-то мои административные решения вызвали взрыв в лаборатории?

– Во всяком случае, не буду поражен, если обнаружится что-либо похожее. Вы столько мешали нам, столько...

– Ставил вам палки в колеса, так? – Он кивнул на дисплей, там еще сияла моя программа. Я резким нажатием кнопки погасил экран. – Что ж, исследуйте и это, друг Мартын.

– Не премину, – с вызовом отозвался я. Впервые он улыбнулся. В улыбке было больше печали, чем сарказма. Что-то, а печаль мало соответствовала его характеру.

– Вот видите, вы уже сами готовы признать, что в трагедии могут появиться побочные к науке обстоятельства. Это меня устраивает. Для полноты укажу вам еще одну тему из таких побочных. Имею в виду вашу личную роль в лаборатории.

– Вы, кажется, считаете, что я причастен к взрыву?

– А почему бы и нет? Вы глубже всех разбираетесь в специфике ротонных исследований, вы были близким другом Сабурову... И вы поссорились с ним, да еще так, что и слышать не хотели о ротонах, создали собственную, принципиально иную лабораторию. Сабуров, вы это сегодня сами узнали, не отменил вашего входного шифра, он оставил вам возможность возвращения, но вы возненавидели его лабораторию и его самого. Отсюда один шаг до мщения. Логическая цепь, не правда ли?

Я засмеялся. Мой смех звучал, наверно, невесело.

– И вы верите в правдоподобность этой любопытной цепи?

Он встал.

– Я верю, что вы исследуете и эту логическую цепь и доложите мне первому выводы, к каким придете. У меня нет причин сомневаться в вашей человеческой и научной честности.

Сухо кивнув, он ушел.

## 5

Многое мог я вообразить, только не то, что меня самого можно заподозрить в причастности к катастрофе. И самым, вероятно, удивительным было, что логика в таком подозрении имелась. Наша ссора с Кондратом прямо наводила на такую мысль. Я вдруг понял, каким искаженным может выглядеть мой уход из лаборатории. И я не мог опровергнуть такое искажение. Не объявить же: Кондрат стал непереносим, потому я и покинул его. Звучало бы слишком уж по-детски. Я сам в ходатайстве об уходе указал иную причину: охладел к ротонной тематике, хочу поэкспериментировать в другой области. Ларр с Сомовым понимали, что причина не в охлаждении к ротонам, а в чем-то более важном. Но в чем? Сомов только что объяснил: испугались-де, что эксперименты ведут к катастрофе, и заблаговременно сбежали. И я не могу возмутиться, не могу на оскорбительное подозрение ответить оскорбительной дерзостью, ибо реально не было серьезной причины для моего ухода из лаборатории! Прав, нрав сухарь и недоброжелатель Карл-Фридрих Сомов, он точно нащупал больную точку, безошибочно ударил в нее. Он сообразил, что сам я неспособен оценить свои поступки, и предлагает взгляд со стороны вот эти официальные отчеты, рабочие журналы да в придачу дневники Кондрата, такие же путаные и пристрастные, каким был Кондрат, какими мы оба с ним были.

Я положил в ящик стола принесенный Сомовым пакет.

– Не удалась ваша подсказка, дорогой Карл-Фридрих, – сказал я вслух. – И не удастся! Понимаю, понимаю вашу цель! Представить трагедию если и не в (светлых одеждах, то хотя бы как благородный научный риск. Даже вызовет уважение – ах как опасна их работа на наше общее благо, вот они, герои науки, благоговеть перед ними! Нет, Карл-Фридрих, слишком уж элементарная задумка! Хотите знать правду? Правда в том, что я понятия не имею, какова правда. Но постараюсь узнать. Это единственное, что обещаю. – Я включил дисплей. На экране снова засияла намеченная мной программа. – Итак, встреча четырех на лекции Клода-Евгения Прохазки. Слушаю себя. Что еще скажешь о Прохазке?

Но мне нечего было говорить о Прохазке, кроме того, что существовал такой научный скандалист, невысокий, почти четырехугольный, дико лохматый, крупноносый, толстогубый человечек. И что он приехал в нашу прекрасную Столицу из древнего города Праги и мощнотрубным голосом крушил с университетской трибуны фундаменты космологии. И что мы, четверо юнцов, были покорены и красочным обликом профессора, и громopodobным его голошищем, и яркостью революционных теорий. И что космогоническая теория Прохазки наконец стала общепринятой, а сам он умер вскоре после того, как ему поставили в его родном городе первый памятник.

– Вот и все, что я знаю о великолепном научном буйе, – сказал я вслух экрану. – Что там следующее? Туманные идеи Кондрата? Но ведь если они туманные, что-либо ясного о них не сказать.

Я закрыл глаза и задумался. Закрытые глаза мало помогали мысли, но так лучше вспоминалось прошлое.

...Я шел по университетскому парку. На свободной скамейке сидел Кондрат. Я присел рядом, он недоброжелательно посмотрел на меня. Я решил это перетерпеть. На всякий случай сказал:

– Мы недавно познакомились. Вас зовут Сабуров, верно?

– Кондратий Петрович Сабуров, – ответил он хмуро. – А вы парень этой... Клавдии Войцехович?

– Адели, а не Клавдии. Нет, я сам по себе, а не чей-то. Надеюсь, возражений не будет?

– Ну и оставайтесь сами по себе, мне какое дело, пробурчал он и отвернулся.

В парке весна преобразовывалась в лето. Время шло к полудню. В вышине торчали неподвижные золотые тучки, и от этого все небо казалось золотым. Вспомнились две строчки древнего поэта: «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, Аи». Мне никогда не приходилось видеть черных роз, и я не знаю, что такое Аи – просто лимонад или покрепче, но насчет неба поэт не ошибся, оно сегодня было таким.

– Почему вы молчите? – вдруг с негодованием спросил Кондрат.

– Вы тоже молчите, – огрызнулся я. На возражение умнее я не нашелся.

– Я размышляю.

– Вы считаете, что размышлять свойственно только вам!

– Ничего вы не размышляете! – Он все больше сердился. – У вас пустые глаза. Вы любуетесь небом и цветами, вот что вы делаете! Это даже слепой увидит.

– А вы, естественно, не слепой. Если хотите, чтобы я ушел, скажите прямо. Не буду навязывать своего присутствия.

– Я не гоню, оставайтесь.

– Благодарю за разрешение. Какие еще веления?

В нем совершилась перемена. Потом я привык к скачкам его настроения, но в тот день удивился. Кондрат произнес очень дружески:

– Послушайте, помогите мне. Вы сможете.

– А какого рода помощь?

– Простая. Нужно совершить одно великое открытие. Оно у меня на языке, но никак не формулируется. Помните вашу Адель?

– В каком смысле надо ее помнить? Я с ней дружу уже несколько лет. Но она, между прочим, не моя, а тоже своя собственная. И очень своя, могу вас уверить.

– Это хорошо. Я хотел бы, чтобы вы вспомнили ее маленькое вычисление. Поразительный результат, не правда ли?

Мне показалось тогда, что я понял нового знакомого. Этот сумрачный верзила с таким переменчивым настроением, видимо, не знает меры в оценках: какую-то – несомненно мелковатую – идею называет великим открытием, да еще уверяет, что совершать великие открытия очень просто. А в примитивном арифметическом подсчете обнаружил поразительные результаты. Я постарался, чтобы моя ирония дошла до него.

– Адель непрерывно что-нибудь вычисляет. Для этого она и носит крохотный компьютер в сумочке. Вычисление – рабочая площадка астронома-теоретика. Разве вы этого не знали?

Он нетерпеливо отмахнулся.

– Знаю, знаю! И что она готовится в теоретики. И что вы тоже... это самое... ядерщик! Я говорю о расчете, что она сделала на лекции Прохазки. Все думаю и думаю о нем.

– И в результате этих дум пришли к великому открытию?

Ирония до Кондрата не дошла. Насмешки его не брали. Он был слишком глубок, чтобы замечать такие мелочи, как издевка или зубоскальство. Человек, лишенный чувства смешного, – вот таким он был. Он сказал с какой-то только ему свойственной задумчивой рассеянностью:

– Любой комочек вещества рождает пространство. И ваша Адель подсчитала, что для удвоения объема потребуется примерно пятьдесят миллиардов лет, в два раза больше, чем возраст нашей Вселенной. Вас это не потрясает?

– Нисколько. Я не уверен в точности вычисления.

– Приблизительно верно, я проверил. Да и какое это имеет значение один миллиард лет больше, один меньше! Вы не согласны?

Мне было совершенно безразлично, сколько миллиардов лет потребуется для удвоения объема любого предмета, тем более объема космоса. Земное бытие эти фантастические цифры не затрагивали. К тому же я шел в ядерщики, а не в космологи: проблема была вне моей специальности.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.